

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Н. А. Бугров. Максим Горький

...В 1901 году, выпустив меня из тюрьмы, начальство применило ко мне очень смешную меру "предупреждения и пресечения преступлений" – домашний арест. В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую – другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них.

Кухонный страж помогал кухарке носить дрова, чистить овощи, мыть посуду; страж прихожей открывал двери посетителям, раздевал их, подавал галоши, а когда у меня никого не было, он, заткнув неуклюжей фигурой своей дверь в мою комнату, спрашивал бабьим голосом:

– Господин Горьков, – извините! – как же это? Говорится: небеса, небесный, а – вдруг: бес основания? Какое же основание? Основание грехов наших?

Изрытое ospой лицо солдата украшал тупой нос, дряблый, как губка, под носом торчали кустики чёрной шерсти, раковина его левого уха была разорвана поперёк, левый глаз косил, забегая в сторону уха.

– Люблю читать жития священномучеников, – говорил он тонким голосом и почему-то виноватым тоном. – Необыкновенные слова там попадают...

И конфузливо спрашивал:

– А – извините! – неп'орочный значит непоротый? Примерно: неп'орочная дева?

Наскоро объяснив ему различие между поркой и пороком, я просил:

– Вы, пожалуйста, не мешайте мне.

– Хорошо, – благосклонно говорил он. – Ничего, пишите...

И через пять, десять минут снова звучал раздражающий голосок:

– А – извините меня...

Однажды, часов в семь утра, я был разбужен его словами:

– Спит ещё, на свету лег...

Чей-то другой голос спросил:

– И ночью сторожишь?

– А как же? По ночам они и действуют...

– Буди. Скажи – Зарубин пришёл.

Через четверть часа предо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин, тяжёлая голова его тряслась, он отирал бороду клетчатым платком и, глядя в лицо мне выцветшими глазами, сипло говорил:

– Знакомиться с личностью твоей пришёл. Хотел я в тюрьму к тебе придти, – прокуроришко не пустил.

– Зачем это нужно было вам?

Он хитроумно подмигнул мне:

– Надобно их тревожить, владык наших, воевод этих! Они думают – нет сопротивления им в делах беззаконных. А я вот показываю: врётё, есть сопротивление!

Оглядел комнату прищуренными, красными глазами кролика.

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Не богато однако живёшь, скудно. А слух идёт - большие деньги даны тебе иностранцами за книгу Гордеева, за позор купечества нашего. Ну, всё-таки книга, стоящая внимания; хоша и сочинение - а правда есть! Читают её согласно; верно, говорят, списал, народ мы - такой! Яков Башкиров хвастает: "Маякин - это я! С меня списано, вот глядите, каков я есть умный". Бугров даже читал, Николай Александров. "Книжка, говорит, для нас действительно горькая!" Я ведь вроде как бы от него и пришёл: почёт тебе! Не верит он, что ты из простых, даже будто из босяков, хочет самолично поглядеть на тебя. Одевайся, едем к нему чай пить.

Ехать к Бугрову я отказался, это очень рассердило старика, он тяжело встал со стула, мотая трясущейся головою и брызгая слюной.

- Гордость твоя - глупая! Бугров не грешнее таких, какой ты есть. А что из дома выходить без полицейского не велено тебе, так ему, Бугрову, наплевать густо на законы и запреты ваши.

И, не простясь, старик ушёл, сердито шаркая ногами. Провожая его, полицейский спросил:

- Несогласие обнаружено?

Зарубин крикнул на него:

- А ты - молчи!..

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов, - Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя.

Старообрядец "беспоповского согласия", он выстроил в поле, в версте расстояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесённое высокой, кирпичной оградой, на кладбище - церковь и "скит", - а деревенских мужиков наказывали годом тюрьмы по 103 статье "уложения о наказаниях уголовных" за то, что они устраивали в избах у себя тайные "молельни". В селе Поповке Бугров возвёл огромное здание, богадельню для старообрядцев, - было широко известно, что в этой богадельне воспитываются сектанты-"начётники". Он открыто поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе и вообще являлся не только деятельным защитником сектантства, но и крепким столпом, на который опиралось "древнее благочестие" Поволжья, Приуралья и даже некоторой части Сибири.

Глава государственной церкви, нигилист и циник Константин Победоносцев, писал - кажется в 1901 году - доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать своё дело. Он говорил "ты" взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он, в 96 году, на всероссийской выставке, дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова.

Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хороший ночлежный дом, огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно оборудовал в нём школу, устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не жалел денег на дела "благотворения".

Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова "разжился" фабрикацией фальшивых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил как о фальшивомонетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с уважением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать такой вывод: если преступление не удалось - тогда это преступление, достойное кары; если же оно ловко скрыто - это удача, достойная хвалы.

Говорили, что Мельников-Печерский [в] "В лесах" под именем Максима Потапова изобразил отца Бугрова; я так много слышал плохого о людях, что мне было легче верить Мельникову, а не деду. О Николае Бугрове рассказывали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала восьмидесятых годов.

Обширные дела свои Бугров вёл сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера; он снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из Москвы

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал, а на предложение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почёсывая скулу:

- Это - большое дело! Имущества у меня много, считать его - долго!

Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет получать деньги даром и просит отпустить его.

- Извини, брат! - сказал Бугров. - Нет у меня времени конторой заниматься, лишняя она обуза мне. У меня контора вся тут.

И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу.

Я часто встречал этого человека на торговых улицах города: большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем ни поддевку, в ярко начищенных сапогах и в суконном картузе, он шёл тяжёлой походкой, засунув руки в карманы, шёл встречу людям, как будто не видя их, а они уступали дорогу ему не только с уважением, но почти со страхом. На его красноватых скулах бессильно разрослась серенькая бородка мордвина, прямые, редкие волосы её, не скрывая маленьких ушей, с приросшими мочками, и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо - неясное, незаконченное, в нём нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стёртые, безглазые лица часто встречаются у людей верхнего и среднего Поволжья, - под скучной, неопределённой маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем необъяснимую жестокость.

Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее, двойственное чувство - напряжённое любопытство сочеталось в нём с инстинктивной враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать "добрые дела" этого человека, и всегда являлась у меня мысль:

"Странно, что в одном и том же городе, на узенькой полоске земли могут встречаться люди столь решительно чуждые друг другу, как чужды я и этот "воротило".

Мне сообщили, что будто, прочитав мою книжку "Фома Гордеев", Бугров оценил меня так:

- Это - вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких - в Сибирь ссылать, подальше, на самый край...

Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше этой оценки; её воспитал ряд таких фактов: человек этот брал у бедняков родителей дочь, жил с нею, пока она не надоедала ему, а потом выдавал её замуж за одного из сотен своих служащих или рабочих, снабжая приданым в три, пять тысяч рублей, и обязательно строил молодожёнам маленький, в три окна, домик, ярко окрашенный, крытый железом. В Сейме, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелёными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочито подчёркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом.

Забава миллионера была широко известна, - на окраинах города и в деревнях девицы и парни распевали унылую песню:

Наверно, ты Бугрова любишь,

Бугрову сердце отдала;

Бугрову ты верна не будешь,

А мне - по гроб страдать дала!

На одной из таких "испробованных девиц" женился мой знакомый машинист, тридцатилетний вдовец, охотник по птице и птицелов, автор очень хорошего рассказа о жизни пернатых хищников, напечатанного, кажется, в журнале "Природа и охота".

Хороший, честный человек, он так объяснял мотивы женитьбы:

– Жалко девушку, обижена, а – хорошая девушка! Не скрою: за ней четыре тысячи приданого и домик. Это – меня подкупает. Буду жить тихо, учиться начну, писать...

Через несколько месяцев он начал пить, а на масленице был избит в пьяной драке и вскоре помер. Незадолго перед этим он прислал мне рукопись рассказа о хитростях лисы в её охоте за лесной птицей, – помню, рассказ был начат так:

"Ярко и празднично одет осенний лес, а дышит он унынием и гнилью".

Ко мне пришла женщина, возбуждённая почти до безумия, и сказала: её близкий друг заболел в далёкой ссылке, у Полярного круга. Она должна немедленно ехать к нему, нужны деньги. Я знал, что речь идёт о человеке недюжинном, но у меня не было крупной суммы, нужной на поездку к нему.

Я пошёл к чудаковатому богачу Митрофану Рукавишникову; этот маленький, горбатый человечек жил, – как Дезэссент, герой романа Гюйсманса, выдуманной жизнью, считая её очень утончённой и красивой: он ложился спать утром, вставал вечером, к нему ночами приходили друзья: директор гимназии, учитель института благородных девиц, чиновник ведомства уделов, они всю ночь пили, ели, играли в карты, а иногда, приглашая местных красавиц "свободной жизни", устраивали маленькие оргии.

В полумраке кабинета, тесно уставленного мебелью из рога техасских быков, в глубоком кресле, сидел, окутав ноги пледом, горбун с лицом подростка; испуганно глядя на меня тёмными глазами, он молча выслушал просьбу дать мне денег взайём и молча протянул двадцать пять рублей. Мне было нужно в сорок раз больше. Я молча ушёл.

Дня три бегал по городу, отыскивая деньги, и, случайно встретив Зарубина, спросил: не поможет ли он мне?

– А ты проси у Бугрова, этот даст! Едем к нему, он на бирже в сей час!

Поехали. В шумной толпе купечества я тотчас увидел крупную фигуру Бугрова, он стоял, прислонясь спиной к стене, его теснила толпа возбуждённых людей и впереводку кричала что-то, а он изредка, спокойно и лениво говорил:

– Нет.

И слово это в его устах напоминало возглас "цыц!", которым укрощают лай надоевших собак.

– Вот – самый этот Горький, – сказал Зарубин, бесцеремонно растолкав купечество.

С лица, измятого старостью, на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие, усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно стекала слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелёные искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И, пожимаю руку мою пухлой, но крепкой рукою, Бугров сказал:

– Честь городу нашему... Чайку попить не желаете ли со мною?

В "Биржевой" гостинице, где всё пред ним склонилось до земли и даже канарейки на окнах почтительно перестали петь, – Бугров крепко сел на стул, спросив официанта:

– Чайку, брат, дашь?

Зарубина остановил какой-то толстый, красноносый человек с солдатскими усами, старик кричал на него:

– Полиции – боишься, а совести – не боишься!

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Всё воюет языком неужённым старец наш, - сказал Бугров, вздыхая, отёр слезу с лица синим платком и, проткнув меня острыми лучами глаз, спросил:

- Слышал я, что самоуком дошли вы до мастерства вашего, минуя школы и гимназии? Так. Городу нашему лестно. И будто бедность большую испытать пришлось? И в ночлежном доме моём живали?

Я сказал, что, будучи мальчишкой, мне случалось по пятницам бывать у него на дворе, - в этот день он, в "поминок" по отце, давал нищим по два фунта пшеничного хлеба и по серебряному гривеннику.

- Это ничего не доказует, - сказал он, двигая серенькими волосами редких бровей. - За гривенником и не бедные люди приходили от жадности своей. А вот что в ночлежном жили вы, - это мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из этого дома, как из омота, никуда нет путей.

- Человек - вынослив.

- Очень правильно, но давайте прибавим: когда знает, чего хочет.

Говорил он солидно, как и подобало человеку его положения, слова подбирал осторожно, - должно быть, осторожность эта и делала его речь вычурной, тяжёлой. Зубы у него мелкие, плотно составлены в одну полоску жёлтой кости. Нижняя губа толста и выворочена, как у негра.

- Откуда же вы купечество знаете? - спросил он, а выслушав мой ответ, сказал:

- Не всё в книге вашей верно, многое же очень строго сказано, однако Маякин - примечательное лицо! Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а - чувствую: такой человек должен быть! Насквозь русский и душой и разумом. Политического ума...

И, широко улыбаясь, он прибавил весело:

- Очень поучительно подсказываете вы купцу, как ему жить и думать надобно, о-очень!

Подожёл Зарубин, сердито шлёпнулся на стул и спросил не то - меня, не то - Бугрова:

- Дал денег?

Вопрос его так смутил меня, что я едва не выругался и, должно быть, сильно покраснел. Заметив моё смущение, Бугров тотчас шутливо спросил:

- Кто - кому?

Я в кратких словах объяснил мою нужду, но Зарубин вмешался, говоря:

- Это он не для себя ищет денег, он живёт скудно...

- Для кого же, - можно узнать? - обратился ко мне Бугров.

Я был раздражён, выдумывать не хотелось, и я сказал правду, ожидая отказа.

Но миллионер, почёсывая скулу, смахивая пальцем слезу со щеки, внимательно выслушал меня, вынул бумажник и, считая деньги, спросил:

- А - хватит суммы этой? Путь - дальний, и всякие случаи неудобные возможны...

Поблагодарив его, я предложил дать расписку, - он любезно усмехнулся:

- Разве что из интереса к почерку вашему возьму...

А посмотрев на расписку, заметил:

- Пишете как будто уставом, по-старообрядчески, каждая буква отдельно стоит. Очень интересно пишете!..

- По псалтырю учился.
- Оно и видно. Может - возьмёте расписочку назад?

Я отказался и, торопясь передать деньги, ушёл. Пожимая мне руку с преувеличенной любезностью, Бугров сказал:

- Будемте знакомы! Иной раз позвольте лошадь прислать за вами, - вы далеко живёте. Весьма прошу посетить меня.

Спустя несколько дней, утром около восьми часов, он прислал за мною лошадь, и вот я сижу с ним в маленькой комнатке, её окно выходит во двор, застроенный каменными складами, загромождённый якорями, железным ломом, лыком, рогожей, мешками муки. На столе шумно кипит маленький самовар, стоит блюдо горячих калачей, ваза зернистой икры и сахарница с разноцветными кубиками фруктового - "постного" - сахара.

- Рафинада - не употребляю, - усмехаясь, сказал Бугров. - Не оттого, что будто рафинад собачьей кровью моют и делают с ним разные... мапулярии, что ли, зовётся это, по-учёному?

- Манипуляции?

- Похоже. Нет, постный сахар - вкуснее и зубам легче...

В комнате было пусто, - два стула, на которых сидели мы, маленький базарный стол и ещё столик и стул в углу, у окна. Стены оклеены дешёвыми обоями, мутно-голубого цвета, около двери в раме за стеклом - расписание рейсов пассажирских пароходов. Блестел недавно выкрашенный рыжий пол, всё выложено, скучно чисто, от этой чистоты веяло холодом, и было в ней что-то "нежилое". Воздух густо насыщен церковным запахом ладана, лампадного масла, в нём кружится большая синяя муха и назойливо жужжит. В углу - икона богородицы, в жемчужном окладе, на венчике - три красные камня; перед нею лампада синего стекла. Колеблется сиротливо голубой огонёк, и как будто по иконе текут капельки пота или слёз. Иногда муха садится на ризу и ползает по ней чёрным шариком.

Бугров - в сюртуке тонкого сукна, сюртук дл'инен, наглухо, до горла, застёгнут, похож на подрясник. Смакуя душистый чай, Бугров спрашивает:

- Так, значит, приходилось вам в ночлежном доме жить?

Голос его звучит сочувственно, точно речь идёт о смертельной болезни, которую я счастливо перенес.

- Трудно поверить, - раздумчиво отирая слезу со щеки, продолжает он. Босяк наш - осенний лист. И даже того бесполезнее, ибо - лист осенний удобряет землю...

И, в тон жужжанию мухи, рассказывает:

- У нас тут, на берегу, подрядчик есть, артель грузчиков держит, Сумароков по фамилии; так он - знаменитого лица потомок, в Екатериныны времена его дед большую значительность имел, а внук - личность дерзкая, живёт вроде атамана разбойников, пьянствуя с рабочими своими, и прикрывает их воровство. Ведь вот какая превратность! А вы - наоборот. Трудно понять, на каких весах судьба взвешивает людей... Возьмите икорки ещё!

Не спеша жуёт калач, громко чмокая, и скольльзящим взглядом щупает меня.

- Книг я не читаю, а ваши сочинения - прочитал, посоветовали. Очень удивительных людей встречали вы. Например: в одну сторону идёт Маякин, в другую - "проходимец" этот, - как его?

- Промтов.

- Да. Одни, души не щадя, стараются для России, для всех людей нашего государства, а другой - расковыривает всю жизнь похабным языком, грязным шилом умишка своего. А вы и о том и о другом рассказываете... не умею выразить как,

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
как будто о чужих вам, не русских людях, но как будто и родственно, а? Не совсем понимаю это...

Я спросил: читал ли он рассказ "Мой спутник"?

- Читал. Весьма занятно.

Он откинулся на спинку стула, стирая пот с лица большим платком с цветной каймой, потом - взмахнул им, как флагом.

- Ну, это, конечно, человек дикий, не русский. А этот, "проходимец" правда? Маякин же, говорите, не совсем правда?

Качая головой с жёлто-седыми волосами, плотно примасленными к черепу, он негромко сказал:

- Есть в этом опасность. Государство наше, говорят, дом, который требует ремонта, перестроить надо-де его! Так-с. Ну, а какой же силой? Сила-то где, по-вашему? Как же всех людей включить в это дело, когда одни свободно пасутся, как скот на подножном корму, и ничего боле не желают? А как же Маякин-то? Хозяин-то? Он, души не жалея, делу государственному жертвует всей силой и совестью, а другим - наплевать на него, а?

Значительный этот разговор был прерван мухой - она слепо налетела на слабый огонёк лампы, взныла и, погасив его, упала в масло. Бугров встал, вышел за дверь и крикнул:

- Эй!

Явилась миловидная девушка, одетая, как монахиня, в тёмное, поклонилась нам, прижав руки к животу, и, положив на стол несколько телеграмм, молча стала оправлять лампадку. Потом, с таким же поклоном, не поднимая глаз, исчезла, перебирая пальцами кожаную лестовку, висевшую на поясе у неё.

- Дела доспели, извините, - сказал Бугров, скользя глазами по квадратным бумажкам телеграмм. Вынул из кармана огрызок карандаша, наморщив нос, поставил на бумагах какие-то знаки и небрежно бросил их на стол, говоря:

- Пойдёмте отсюда...

Привёл меня в большой зал с окнами на берег Волги; на крашеном полу лежали чистые половики, небелёного холста, по стенам стояли стулья. У одной из них - кожаный диван. Скучно пусто, и всё тот же церковный, масляный запах. А в стёкла окон непрерывно стучится буйный, железный гул трудового дня, на реке свистят пароходы...

- Хороша картинка? - спросил Бугров, указывая на стену, - там висела копия Сурикова "Боярыня Морозова", а против её, на другой стене, превосходное старое полотно - цветы, написанные удивительно тонко и благородно. Медная пластинка внизу рамы говорила, что это работа Розы Бонёр.

- Вам эта больше нравится? - улыбаясь, спросил старик. - Я её в Париже купил; иду по улице, вижу - в окне картина и на ней цифра - десять тысяч! Что такое? - думаю. Пригляделся - цветы и боле ничего. Искусно, однако же и цена. Три тысячи целковых ведь. Послал знакомого спросить: почему так дорого? Тот спросил - редкость, говорит. Опять пошёл, посмотрел. Нет, думаю, дудки! А наутро говорю приятелю-то: "Поди-ка, возьми её мне".

Он засмеялся.

- Каприз, конечно. Но - так она мне понравилась - нельзя оставить...

Всё вокруг блестело холодной нежилою чистотой, вызывая мысль о скучной, одинокой жизни.

- Вы меня извините, - надо на биржу идти, - сказал Бугров. - Не удалось нам кончить интересную нашу беседу, очень жалею. Позвольте беспокоить вас вдругорядь... До свиданья!

Он часто присылал за мною лошадь, и я охотно ездил к нему пить утренний чай с калачами, икрой и "постным" сахаром. Мне нравилось слушать его осторожно шупающие речи, следить за цепким взглядом умных глаз, догадываться – чем живёт этот человек вне интересов своего купеческого дела и в чём, кроме денег, сила его влияния?

Мне казалось, что он хочет что-то вытянуть из меня, о чём-то выпросить, но он, видимо, не умел сделать это или неясно понимал, чего хочет.

Часто возвращался к скучному вопросу:

– Как же это случилось, что вы, странствуя по путям опасным и даже гибельным, всё-таки вышли на дорогу полезного труда?

Это раздражало меня. Я говорил ему о Слепушкине, Сурикове, Кулибине и других русских самоучках.

– Скажите, какое обилие! – нехотя удивлялся он, задумчиво почёсывая скулу, безуспешно пытаясь прищурить больной глаз. И, прищуривая здоровый, назойливо спрашивал:

– Ведь в жизни без основания, без привязки к делу, – большой соблазн должен быть, как же это не соблазнились вы? В дело-то как вросли, а?

Но наконец он всё-таки поймал мысль, которая тревожила его:

– Видите ли, что интересно: вот мы живём сыто и богато, а под нами водятся люди особых свойств, подкапывают нашу жизнь. Люди – злые, как вы рассказываете о них в книжках ваших, люди – без жалости. Ведь ежели начнёт этих людей снизу-то горбом выпирать, – покатится вся наша жизнь сверху вниз...

Говорил он улыбаясь, но глаза его, позеленев, смотрели на меня сухо и пронзительно. Сознывая бесполезность моих слов, я довольно резко сказал, что жизнь насквозь несправедлива, а потому – непрочна, и что – рано или поздно – люди изменят не только формы, но и основания своих взаимоотношений.

– Непрочна! – повторил он, как бы не расслышав слова – несправедлива. – Это – верно, непрочна. Знаки непрочности её весьма заметны стали.

И – замолчал. Посидев минуту, две, я стал прощаться, убеждённый, что знакомство наше пресекалось и уж больше не буду я пить чай у Бугрова с горячими калачами и зернистой икрой. Он молча и сухо пожал руку мне, но в прихожей неожиданно заговорил, вполголоса, напряжённо, глядя в угол, где сгустился сумрак:

– А ведь человек – страшен! Ой, страшен человек! Иной раз опамятуешься от суеты дней, и вдруг – сотрясётся душа, бессловесно подумаешь – о, господи! Неужто все – или многие – люди в таких же облаках тёмных живут, как ты сам? И кружит их вихорь жизни так же, как тебя? Жутко помыслить, что встречный на улице, чужой тебе человек проникает в душу твою и смятение твоё понятно ему...

Говорил он нараспев, и странно было мне слушать это признание.

– Человек – словно зерно под жерновом, и каждое зерно хочет избежать участи своей, – ведь вот оно, главное-то, около чего все кружатся и образуют вихорь жизни...

Он замолчал, усмехаясь, а я сказал первое, что пришло в голову:

– С такими мыслями – вам трудно жить!

Он чмокнул губами.

Вскоре он снова прислал за мною лошадь, и, беседуя с ним, я почувствовал, что ему ничего не нужно от меня, а – просто – скучно человеку и он забавляется возможностью беседовать с кем-то иного круга, иных мыслей. Держался он со мною всё менее церемонно и даже начал говорить отеческим тоном. Зная, что я сидел в тюрьме, он заметил:

- Это - зря! Ваше дело - рассказывать, а не развязывать...

- Что значит - развязывать?

- То и значит: революция - развязка всех узлов, которые законами связаны и людей скрепляют для дела. Или вы - судья, или - подсудимый...

Когда я сказал ему о назревающей неизбежности конституции, он, широко улыбаясь, ответил:

- Да ведь при конституции мы, купечество, вам, беспокойным, ещё туже, чем теперь, гайки подвинтим.

Но о политике он беседовал неохотно и пренебрежительно, тоном игрока в шахматы об игре в шашки.

- Конечно, - всякая шашка хочет в дамки пролезть, а все другие шашки от этого проигрывают. Дело - пустенькое. В шахматах - там суть игры - мат королю!

Несколько раз он беседовал с царём Николаем.

- Не горяч уголёк. Десяток слов скажет - семь не нужны, а три - не его. Отец тоже не великого ума был, а всё-таки - мужик солидный, крепкого запаха, хозяин! А этот - ласков, глаза бабьи...

Он прибавил зазорное слово и вздохнул, говоря:

- Не по земле они ходят, цари, не знают они, как на улице живут. Живут, скворцы в скворешнях, во дворцах своих, но даже тараканов клевать не умеют и - выходят из моды. Не страшны стали. А царь - до той минуты владыка, покуда страшен.

Говорил он небрежным тоном, ленивенькими словами, безуспешно пытаясь поймать ложкой чайнку в стакане чая.

Но вдруг, отбросив ложку, приподнял брови, широко открыл зелёные болотные глаза.

- Вот над этим подумать стоит, господин Горький, - чем будем жить, когда страх пропадёт, а? Пропадает страшок пред царём. Когда приезжал к нам, в Нижний, отец Николая, так горожане молебны служили благодарственные богу за то, что царя увидеть довелось. Да! А когда этот, в девяносто шестом, на выставку приехал, так дворник мой, Михайло, говорит: "Не велик у нас царёк! И лицом неказист и роста недостойного для столь большого государства. Иностранные-то, глядя на него, поди-ко, думают: ну, какая там Россия, при таком неприглядном царе!" Вот как. А он, Михайло, в охране царской был. И никого тогда не обрадовал царёв наезд, - как будто все одно подумали: "Ох, не велик царёк у нас!"

Он взглянул в угол на умирающий, сапфировый огонёк лампы, встал, подошёл к двери и, приоткрыв её, крикнул:

- Лампаду оправьте, эй!

Бесшумно, как всегда, вошла, низко кланяясь, тёмная девица, встала на стул, оправляя лампаду, Бугров смотрел на её стройные ноги в чёрных чулках и ворчал:

- Что это у вас в этой горнице лампада всегда плохо горит?

Девица исчезла, уплыла, точно обрывок чёрной тучи.

- Вот и о боге - тоже, - заговорил Бугров. - Даже в нашем быту, где бога любят и берегут больше, чем у вас, никониан, - даже у нас, в лесах, покачнулся бог. Величие его будто бы сократилось. Любовности нет к нему, и как бы в забвение облакается. Отходит от людей. Фокусы везде, фокусами заслоняют чудо жизни, созданной им. Вот послушайте случай.

Вдумчиво, крепкими, тяжёлыми словами, он рассказал:

В глухое лесное село Заволжья учитель привёз фонограф и в праздник в школе стал

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
показывать его мужикам. Когда со стола, из маленького деревянного ящика, человеческий голос запел знакомую всем песню, мужики встали, грозно нахмурясь, а старик, уважаемый всем селом, крикнул:

- Заткни его, так твою мать!

Учитель остановил аппарат, тогда мужики, осмотрев ящик и цилиндр, решили:

- Сжечь дьяволу игрушку!

Но учитель предусмотрительно запасся двумя валиками церковных песнопений. Он с трудом уговорил мужиков послушать ещё, и вот ящик громко запел "Херувимскую". Это изумило слушателей до ужаса, старик же надел шапку и ушёл, толкая всех, как слепой; за ним, как стадо за пастухом, молча ушли и мужики.

- Старик этот, - строго рассказывал Бугров, глядя в лицо мне прищуренными глазами, - придя домой, сказал своим: "Ну, конечно. Собирайте меня, умереть хочу". Надел смертную рубаху, лёг под образа и на восьмой день помер - уморил себя голодом. А село с той поры обзавелось бесшабашными какими-то людьми. Орут, не понять - что, о конце мира, антихристе, о чорте в ящике. Многие - пьянствовать начали.

Постучав по столу пухлым пальцем, он продолжал с тревогой и горечью:

- Бог дал человеку лошадь для работы, а тут по улице бежит вагон - кем движим? Неизвестно. Я учёных спрашивал: "Это что значит - электричество?" "Сила, говорят, а какая - неведомо". Даже - учёные. А каково мужику видеть это? Ведь ему не скажешь, что бог вагоны по улицам гоняет. А что не от бога, то - от кого? То-то. Да тут ещё телефоны и всякое другое. У меня артельщик - умный парень, грамотей - до сего дня, к телефону подходя, крестится, а поговорив, руки мылом моет - вот как! Всё - фокусы. Польза в них есть, я - не против этого, я только спрашиваю: как понять это мужику, лесному-то человеку? Зверя он тонко понимает, рыбу, птицу, пчелу, но - если деревянный ящик молитвы поёт, значит - зачем церковь, поп и всё прочее? Как будто не надобно церковь?! И - где в этом бог? Это он, что ли, ангела в ящик посадить изволил? Вопрос!

Откусив кусочек фруктового сахара, Бугров жадно выпил чай, вытер усы и продолжал, убедительно, тихо:

- Наступило время опасное, больших тревог души время. Вот вы говорите - революция, воскресение всех сил земли. Какие силы-то, какие, откуда они? Народ этого не понимает. Вы забегаете вперёд да вперёд и всё дальше, а мужик отстаёт всё больше. Вот о чём подумай...

И вдруг предложил, почти весело:

- Поедемте со мною в Городец, разгуляемся?

Как земля, всякий человек облечён своей атмосферой, невидимым облаком истечений его энергий, незримым дымом горения его души.

Бугрова окружала атмосфера озабоченной скуки, но порою эта скука превращалась в медленный вихрь тёмных тревог. Он плутал, кружился по пустым своим комнатам, как пленный зверь, давно укрощённый усталостью, останавливался перед картиной Розы Бонёр и, касаясь тупым, жёлтым пальцем полотна, говорил задумчиво:

- На земле-то, в садах у нас, будто и не бывает таких затейных цветов. Хороши. Не видал таких...

Казалось, что он живёт, как человек, глазам которого надоело смотреть на мир и они слепнут, но иногда всё вокруг его освещалось новым светом, и в такие минуты старик был незабвенно интересен.

- Вот говорите - Маякин - лицо выдуманное? А Яшка Башкиров доказывает, что Маякин - это он, Башкиров. Врёт! Он - хитёр, да не так умён. Это я к тому, что цветы можно выдумать, а человека - нельзя! Сам себя он может выдумать, и это будет - горе его. Вы же сочинить не можете человека. Значит - похожих на Маякина вы видели. И, ежели имеются, живут люди, похожие на него, - хорошо!

Он нередко возвращался к этой теме.

- В театрах показывают купцов чудаками, с насмешкой. Глупость. Вы взяли Маякина серьезно, как человека, достойного внимания. За это вам честь.

И, время от времени, всё спрашивал:

- Так, значит, вы в ночлежном доме живали? До чего это не похоже на правду!

Однажды он спросил:

- А что вы - различие между людьми видите? Примерно - различие между мною и матросом с баржи?

- Не велико, Николай Александрович.

- Вот и мне тоже кажется: не велико для вас различие между людей. Так ли это? По-моему, очень тонко надо различать, кто - каков. Надобно подсказывать человеку, что в нём его, что - чужое. А вы - как в присутствии по воинской повинности: годен - негоден! Для чего же годен-то? Для драки?

Пристукивая ребром ладони по столу, он сказал:

- В человеке - одна годность: к работе! Любит, умеет работать - годен! Не умеет? Прочь его! В этом вся премудрость, с этим безо всяких конституций можно прожить.

- Дай-ко мне ты власть, - говорил он, прищурился здоровый глаз до тонкости ножового лезвия, - я бы весь народ разбередил, ахнули бы и немцы и англичане! Я бы кресты да ордена за работу давал - столярам, машинистам, трудовым, чёрным людям. Успел в своём деле - вот тебе честь и слава! Соревнуй дальше. А что, по ходу дела, на голову наступил кому-нибудь - это ничего! Не в пустыне живём, не толкнув - не пройдёшь! Когда всю землю поднимем да в работу толкнем - тогда жить просторнее будет. Народ у нас хороший, с таким народом горы можно опрокинуть, Кавказы распахать. Только одно помнить надо: ведь вы сына вашего в позывной час плоти его сами к распутной бабе не поведёте - нет? Так и народ нельзя сразу в суету нашу башкой окунуть - захлебнётся он, задохнётся в едком дыме нашем! Осторожно надо. Для мужика разум вроде распутной бабы - фокусы знает, и душу не ласкает. У мужика в соседях леший живёт, под печью - домовый, а мы его, мужика, телефоном по башке. Примите в расчёт вот что: трудно понять, кое место - правда, кое - выдумка? Когда выдумка-то издаля идёт, из древности, - так она ведь тоже силу правды имеет! Так что - пожалуй, леший, домовый боле правда, чем телефон, фокус сего дня...

Встал, взглянул в окно и проворчал:

- Экое дурачье!

Постучал кулаком по переплёту рамы, а потом, укоризненно качая головою, погрозил кому-то пальцем... И, засунув руки в карманы, стоя у окна, предложил:

- Хотите - расскажу случай, может, пригодится вам? Жила в Муроме девица необыкновенно красива, до удара в душу. Сирота, жила у дяди, а дядя - приказчик на пристани, воришка, скряга, многодетен и вдов; племянница у него за няньку, за кухарку и за дворника. Было ей уже двадцать лет, и, по силе её красоты, сватались к ней даже весьма денежные люди, ну - дядя не выдавал её, невыгодно ему было даровой работницы лишиться. Влюбился в неё чинуша один - спился, пропал. Говорили - поп старался захороводить её, ему от этого тоже ничего не прибыло, кроме вреда и горя. Была она боголюбива, вся радость у неё - в церковь ходить да книги церковные читать. Любила цветы, - прекрасные цветы развела и в горницах и в палисаднике. Скромная, тихая, как монашка, и умилительной приятности глаза.

Помолчав, почесав скулу, он странно мигнул здоровым глазом и повторил:

- О таких глазах в сказках говорится хорошо. И вот увидел её хозяин дяди, купец, старик изрядно распутной жизни, увидел и - тотчас обезумел, ошарашило его. Целую зиму охаживал - не поддаётся, даже как бы не понимает ничего. И никакими

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru

деньгами невозможно взять её. Тогда он подстроил так, чтобы дядя послал её в Москву, по делам, а в Москве уговорил девицу ехать с ним в "Яр". И как приехала она в идольское капище это, присмотрелась маленько, – сразу как бы нагими увидела всех и себя самой. Говорит старику: "Поняла я, чего вы хотите, и на всё согласна, дайте только хоть месяц вот так великолепно пожить". Тот, конечно, обрадовался и предлагает ей всё, что угодно, а сейчас – едем в баню! "Сейчас, говорит она, не могу я, завтра, говорит, суббота, схожу к вечерней, ко всенощной, а после – пожалуйста". И вот – прошло с той поры боле пяти лет, и теперь она самая дорогая распутница по Москве...

Он медленно откачнулся от стены, сел на стул, задумчиво и тихо говоря:

– Конечно, случай не из редких, если забыть, какова девушка была. Однако – поглядите, как силён соблазн фокусов! Совокупите случай этот с тем, что раньше говорено, и подумайте: живёт душа в плену тёмном великой скуки, и вдруг ей покажут такое... Вот он, рай! А это не рай, это – пыль! И не на жизнь, а – на час! Воротиться же от фокусов к домовому, к лешему охоты нет и немыслимо. И похоронена душа в земной пыли.

Он много знал таких похорон, все они были однообразны, и рассказывал он их всегда скучно, всегда так, как будто думал о другом, более значительном и глубоком. Смотрел в окна. Стёкла их снаружи покрыты пылью, закопчены дымом пароходов, сквозь их муть видна тёмная вода Волги, заставленной пристанями, баржами. Всюду на берегу – горы товаров, ящики, бочки, мешки, машины. Шипят и свистят пароходы, в воздухе – облака дыма, на камнях набережной – тучи пыли, сора, лязг и грохот железа, крики людей, дребезжат телеги, непрерывно идёт жизнь, гудит большая работа.

А один из людей, которые, создав эту суетливую, муравьиную жизнь, из года в год расширяют и углубляют её напряжение, – смотрит на свою работу сквозь грязное стекло равнодушным взглядом чужого человека и задумчиво повторяет:

– Не сразу... не вдруг...

О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, сектантское. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твёрдой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую, разумную энергию, – цель её: претворить нашу грязную землю в райский сад.

Это совпадало с моим отношением к труду; для меня труд – область, где воображение моё беспредельно, я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешатся только трудом и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни.

Но скоро я убедился, что Бугров не "фанатик дела", он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жадность душевной скуки. Он был слишком крупен и здоров для пьянства, игры в карты, был уже стар для разврата и всякого хлама, которым люди его стада заполняют зияние своей душевной пустоты.

Однажды в вагоне, по дороге в Москву, ко мне подошёл кондуктор и сказал, что Бугров просит меня к нему в купе. Мне нужно было видеть его, я пошёл.

Он сидел, расстегнув сюртук, закинув голову, и смотрел в потолок на вентилятор.

– Здорово! Садитесь. Вы что-то писали мне о босяках, не помню я...

Дмитрий Сироткин, пароходовладелец, старообрядец, кажется "австрийского согласия", впоследствии – епископ, нижегородский городской голова, издатель журнала "Церковь", умница и честолюбец, бойкий, широкий человек, предложил мне устроить для безработных дневное пристанище – это было необходимо того ради, чтоб защитить их от эксплуатации трактирщиков. Зимой из ночлежного дома выгоняли людей в 6 часов утра, когда на улицах ещё темно и делать нечего, "босяки" и безработные шли в "шалманы" – грязные трактиры, соблазнялись там чаем, водкой, напивали и поедали за зиму рублей на шестьдесят. Весной, когда начиналась работа на Оке и Волге, трактирщики распоряжались закупленной рабочей силой, как им было угодно, выжимая зимние долги. Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле,

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
давали им порцию чая за две копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в праздничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали "Столбы", оно с утра до вечера было набито людьми, а "босяки" чувствовали себя подлинными хозяевами его, сами строго следили за чистотой, порядком.

Разумеется, всё это стоило немалых денег, и я должен был просить их у Бугрова.

- Пустяковина всё это, - сказал он, вздохнув. - На что годен этот народ? Негодники все, негодяи. Вон они даже часов не могут завести у себя.

Я удивился.

- Каких часов?

- В ночлежном у них часов нет, времени не знают. Испортились часы там...

- Так вы велите починить их или купите новые.

Бугров рассердился, заворчал:

- Всё я да я! А сами они - не могут?

Я сказал ему, что будет очень странно, если люди, у которых нет рубах и часто не хватает копейки на хлеб, будут, издыхая с голода, копить деньги на покупку стальных мозеровских часов.

Это очень рассмешило его, открыв рот и зажмурив глаза, он минуты две колыхался, всхлипывая, хлопая руками по коленям, а успокоясь, весело заговорил:

- Ох, глупость я сморозил! Ну, знаете, это со мной бывает, - вдруг вижу я себя бедным и становлюсь расчётлив, скуп. Другие из нашего брата фальшиво прибедняются, зная, что бедному - легче, душе свободнее, с бедного меньше спрашивают и люди и бог. У меня - не то: я начисто забываю, что богат, пароходы имею, мельницы, деньги, забываю, что впрягла меня судьба в большой воз. В душе я не скуп, деньгами не обольщён, просят - даю.

Крепко вытер платком мокрый глаз и продолжал задумчиво:

- А бывает, хочется мне в бедном трактире посидеть и чаю со ржаным хлебом попить, так чтоб и крошки все были съедены. Это бы можно понять, если б я когда-то бедность испытал, но я родился богат. Богат, а - есть охота милостыню попросить, самому понять, как туго бедность живёт. Этого фокуса я не понимаю, и вам, наверное, не понять. Эдакое, слышал я, только у беременных баб бывает...

Отвалясь на спинку дивана и закрыв глаза, он тихо бормотал:

- Капризен человек... чуден! Вот Гордей Чернов бросил всё своё богатство и дело на ходу, - в монастырь сбежал, да ещё на Афон, в самую строгость. Кириллов, Стёпа, благочестиво и мудро жил, скромно и учёно, до шести десятков дожил, - закутил, поставил себя на дыбы, как молодой гуляка, на позор и смех людям отдал. "Всё, говорит, неправда, всё - фальшь и зло, богатые - звери, бедные - дураки, царь - злодей, честная жизнь - в отказе от себя!" Да. Вот - Зарубин тоже. Савва Морозов, большого ума человек, Николай Мешков - пермяк, с вами, революционером, якшаются. Да - мало ли! Как будто люди всю жизнь плутали в темноте, чужими дорогами и вдруг видят: вот она где, прямая наша тропа. А - куда тропа эта ведёт однако?

Он замолчал, тяжело вздохнув. За окном, в лунном сумраке, стремительно бежали деревья. Железный грохот поезда, раздирая тишину полей, гнал куда-то тёмные избы деревень. Испуганно катилась и пряталась в деревьях луна, вдруг выкатывалась в поле и медленно плыла над ним, усталая.

Перекрестясь, Бугров сказал угрюмо:

- У нас, в России, особая совесть, она вроде как бешеная. Испугалась, обезумела, сбежала в леса, овраги, в тущобы, там и спряталась. Идёт человек своим путём, а она выскочит зверем - цап его за душу. И - как! Вся жизнь - прахом, хинью.

Худое, хорошее – всё в один костёр...

Он снова перекрестился, зажмурясь. Я стал прощаться с ним.

– Спасибо, что зашли! Вот что – приходите-ка завтра, в час, к Тестову в трактир, пообедаем. Савву позовите – ладно?

Когда Савва Морозов и я пришли к Тестову, Бугров уже сидел в отдельном кабинете у накрытого стола, два официанта в белом, как покойники в саванах, почтительно и молча суетились, расставляя тарелки с закуской. Бугров говорил одному из них, называя его по имени и отчеству:

– Дашь мне вино это рейнское – как его?

– Знаю-с!

– Здорово, Русь, – приветствовал он нас, а Морозов, пожимая ему руку, говорил:

– Пухнешь ты, Бугров, всё больше, скоро тебе умирать...

– Не задержу...

– Отказал бы мне миллионы-то свои...

– Надо подумать...

– Я бы им нашёл место...

Согласно кивнув головой, Бугров сказал:

– Ты – найдёшь, честолюбец! Ну-тко, садитесь!

Савва был настроен нервно и раздражённо; наклонив над тарелкой умное, татарское лицо, он торопливо, дробной речью, резкими словами стал передавать рассказ какого-то астраханского промышленника о том, как на Каспии истребляют сельдь, закапывая в песок берегов миллионные избытки улова.

– А из этого можно бы приготовить прекрасный удобрительный тук, рыбу чешую превратить в клей...

– Всё ты знаешь, – вздохнув, сказал Бугров.

– А вот такие, как ты, сидят идолами на своих миллионах и ничего не хотят знать о нуждах земли, которая позволяет им сосать её. У нас химическая промышленность не развита, работников для этого дела нет, нам необходимо устроить исследовательский институт химии, специальные факультеты химии нужны... А вы, дикари...

– Ну, начал ругаться, – примирительно и ласково сказал Бугров. – Ты ешь, добрее будешь!..

– Есть – выучились, а когда работать начнём?

Бугров попробовал вино, громко чмокнул и заговорил, глядя в бокал:

– Очень много ты, Савва, требуешь от людей, они от тебя меньше хотят. Не мешал бы ты им жить.

– Если б им не мешать, они бы и по сей час на четырёх лапах ходили...

– Никогда мне этого не понять! – с досадой воскликнул Бугров. Помыслили праздные люди: откуда человек? Решили: от обезьяны! И – радуются!

С удивлением и горечью он спросил:

– Неужто ты веришь в эту глупость? Да – ведь если б это и правда была, так её надо скрыть от людей.

Савва взглянул на него прищурясь и – не ответил.

– По-моему, человека не тем надо дразнить, что он был скот, а тем, что был он лучше того, каков есть...

Морозов усмехнулся, грубо отвечая:

– Что ж, – помолодеет старуха, когда ты напомнишь ей, что она девкой была?

Ели нехотя, пили мало, тяжёлое раздражение Морозова действовало подавляюще. Когда принесли кофе, Бугров участливо спросил:

– Ты что, Савва? Али плохо живёшь? На фабрике неладно?

Круто повернувшись к нему, Морозов заговорил тоном старшего:

– У нас – везде неладно: на фабриках, на мельницах, а особенно – в мозгах!

И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о том, что промышленники некультурны и не понимают своего значения, о законности требований рабочих и неизбежности революции.

– Разгорится она преждевременно, сил для неё – нет, и – будет чепуха!

– Не знаю, что будет, – задумчиво сказал Бугров. – Жандарм нижегородский, генерал, дурачок, тоже недавно пугал меня. Дескать – в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме – шевелятся рабочие. Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь – что законно. Скажем правду – рабочий у нас плохо живёт, а – рабочий хороший!

– Ну, не так уж, – устало проворчал Морозов.

– Нет – так! Народ у нас – хороший. С огнём в душе. Его дёшево не купишь, пустяками не соблазнишь. У него, брат, есть эдакая девичья мечта о хорошей жизни, о правде. Ты – не усмехайся, – девичья! Я вот иной раз у себя на даче, на Сейме, беседую с ними, по вечерам, в праздники. Спросишь: "Что, ребята, трудно жить?" – "Трудновато". – "Ну, а как, по-вашему, легче-то можно?" И я тебе скажу – очень умно понимают они жизнь. Может, не своим умом, а – научены, книжки у них появились, листочки из Сормова... Вот – Горький хорошо знает эти дела. Деньги берёт у меня на листочки. Я даю...

– Не хвастайся, – сказал Морозов.

– Нимало! – спокойно возразил старик. – Против меня это, но я – даю! Конечно – гроши. Но, ежели и ничтожные цифры в этом деле заметны, – что было бы, если б мы с тобой все капиталы пустили в дело это?

– Вот пусти-ка...

– А – что? Соблазн в этом есть. Это будет озорство, а в озорстве всегда соблазн есть.

И, постукивая кулаком по колену Морозова, наклонясь на стуле, точно для прыжка, он продолжал:

– Конечно – озорство, когда человек отказывается от себя самого, это я понимаю! Но – ведь отказываются, полагая, что тут – святость, праведность. Я таких знаю. И, может, даже глупости некоторых – завидую. Вот Горький рассказывал, что даже князь один, Кропоткин, что ли... Эх, разве не соблазн – сбросить с себя хомут...

– Чепуха всё это, Николай Александров, – сказал Савва.

Я внимательно наблюдал за Бугровым. Он мог выпить много и не бывал пьян, а тут он выпил лишь один бокал. Но лицо его болезненно разгорелось, болотные глазки, ярко позеленев, возбуждённо блестели. И, как бы задыхаясь, он говорил торопливо:

– Издревле человек чувствовал, что жизнь – непрочна, издавна хорошие люди бежали её. Ты сам знаешь – богатство не велика сладость, а больше обуза и плен. Все мы – рабы дела нашего. Я трачу душу, чтоб нажить три тысячи в день, а рабочий –

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
тридцати копеек рад. Мелет нас машина, в пыль, мелет до смерти. Все – работают. На кого же? Для чего? Вот что непонятно на кого работаем? Я – работу люблю. А иной раз вздумаешь, как спичку в темноте ночи зажгёшь, – какой всё-таки смысл в работе? Ну – я богат. Покорно благодарю! А – ещё что? И на душе – отвратно...

Вздыхнув, он повторил иным словом:

– Отвратительно.

Морозов встал, подошёл к окну, говоря с усмешкой:

– Слышал я эти речи и от тебя и от других...

– Святость, может, просто – слабость, да она душе сладка...

Тяжёлый разговор оборвался, оба молчали. Он вызвал у меня странное ощущение: как будто в рот и в мозг мне патоки налили. У меня не было причин сомневаться в искренности Бугрова, но я не ожидал услышать из его уст сказанное им. Да, он и до этого дня казался мне человеком, жизнь которого лишена внутреннего смысла, идёт скучно, тёмным путём, покорно подчиняясь внешним толчкам привычных забот и отношений. Но всё-таки я думал, что человеческий труд высоко оценён и осмыслен удельным князем нижегородским.

Было так странно знать, что человек этот живёт трудом многих тысяч людей, и в то же время слышать, что труд этот – не нужен ему, бессмыслен в его глазах.

Невольно подумалось:

"Так жить и чувствовать могут, вероятно, только русские люди..."

Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволжских лесов. Я шёл на Китеж-озеро, остановился в деревне ночевать и узнал, что "ждут Бугрова", – он едет куда-то в скиты.

Я сидел на завалине избы, у околицы; был вечер, уже пригнали стадо, со двора доносился приторный запах парного молока. В раскалённом небе запада медленно плавила тёмносиняя туча, напоминающая формой своей вырванное с корнем дерево. В опаловом небе над деревней плавали два коршуна, из леса притекал густой запах хвои и грибов, предо мною вокруг берёзы гудели жуки. Усталые люди медленно возлились на улице и во дворах. Околдованная лесною тишиной, замирала полусонная, сказочная жизнь неведомых людей.

Когда стемнело – в улицу деревни въехала коляска, запряжённая парой крупных, вороных лошадей, в коляске развалился Бугров, окружённый какими-то свёртками, ящиками...

– Вы как здесь? – спросил он меня.

И тотчас предложил:

– Айда со мною! Хороших девиц увидите. Тут, недалеко, скиток есть, приют для сирот, рукодельям девицы обучаются...

Кучер напоил лошадей у колодца, и мы поехали, сопровождаемые молчаливыми поклонами мужиков. Кланялись в пояс, как в церкви пред образом глубоко чтимого святого. Старики и старухи бормотали:

– Милостивец... Кормилец... Дай тебе господи...

И мычание коров тоже, казалось, насыщено благодарным умилением.

Проехав деревню бойкой рысью, лошади осторожно своротили в лес и пошли тёмной, избитой дорогой, смешивая запах своего пота с душным запахом смолы и цветов.

– Хороши здесь леса, сухие, комара нет, – говорил Бугров благодушно и обмахивал лицо платком. – Любопытный вы человек, вишь куда забрались! Много чего будет у вас вспомнить на старости лет, – вы и теперь со старика знаете. А вот наш брат

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
одно знает: где, что да почём продаётся...

Он был настроен весело, шутил с кучером, рассказывал мне о жизни лесных деревень.

Выехали на маленькую поляну, две чёрных стены леса сошлись под углом, в углу, на бархатном фоне мягкой тьмы притаилась изба в пять окон и рядом с нею двор, крытый новым тёсом. Окна избы освещал жирный, жёлтый огонь, как будто внутри её жарко горел костёр. У ворот стоял большой, лохматый мужик с длинной жердью, похожей на копьё, и всё это напоминало какую-то сказку. Захлёбываясь, лаяли собаки, женский голос испуганно кричал:

- Иван, уйми собак-то, а, господи!

- Засуетилась, - ворчал Бугров, сдвинув брови. - Господ помнит! Много ещё страха пред господами живёт в народе...

Судорожно изгибаясь, часто кивая головою, у ворот стояла миленькая старушка, тёмная, как земля, она, взвизгивая, хватала руку Бугрова:

- Батюшка... принесли ангелы...

Ангелы, отфыркиваясь, били копытами по мягкой земле и бряцали сбруей.

На крыльцо выплыла дородная женщина, одетая в сарафан, и низко поклонилась, прижав руки ко грудям, за нею, посмеиваясь и шурша ситцами, толпились девочки разных возрастов.

- Величайте, дуры! - густо крикнула женщина. Девочки, стиснутые в плотный ком, нестройно запели:

Светел месяц в небеси, - светел!..

- Не надо, - сказал Бугров, махнув рукой, - который раз говорю тебе, Ефимья, - не надо этого! Здорово, девицы!

Ему ответил хор весёлых возгласов, и волною скатился со ступеней крыльца к животу Бугрова десяток подростков.

Женщина что-то бормотала; он, глядя головки детей, сказал:

- Ну, ладно, ладно! Тише, мыши! Гостинцев привёз... ну, ну. Задавите вы меня. Вот - знакомый мой, вот он опишет вас, озорство ваше...

Легонько толкая детей вперёд, он поднимался на крыльцо, а женщина вскрикивала:

- Тише, вам говорят!

Вдруг, как-то неестественно взмахнув руками, зашипела старуха, и тотчас дети онемели, пошли в избу стройно, бесшумно.

Большая горница, куда мы вошли, освещалась двумя лампами на стенах, третья, под красным бумажным абажуром, стояла на длинном столе среди чайной посуды, тарелок с мёдом, земляникой, лепёшками. Нас встретила в дверях высокая, красивая девица, держа в руках медный таз с водою, другая, похожая на неё, как сестра, вытянув руки, повесила на них длинное расшитое полотенце.

Балагуря весело, Бугров вымыл руки, вытер мокрым полотенцем лицо, положил в таз две золотых монеты, подошёл к стене, где стояло штуки четыре пальцев, причесал пред маленьким зеркалом волосы на голове, бороду и, глядя в угол, на огонь лампы пред образами в большом киоте с золотыми "виноградками", закинув голову, трижды истово перекрестился.

- Ещё здравствуйте!

Девочки ответили ему бойко и громко, - тотчас же в дверях встала, содрогаясь, старуха, потрясла змеиной головою, исчезла, подобно тени.

Н. А. Бугров. Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Ну, как, девушки, Наталья-то озорничает? – спрашивал Бугров, садясь за стол в передний, почётный угол.

Дети жались к нему смело и непринуждённо. Все они были румяны, здоровы, и почти все миловидны. А та, что подавала воду, резко выделялась стройностью фигуры и строгой красотой загорелого лица. Особенно хороши были её тёмные глаза, окрылённые густыми бровями, они как будто взлетали вверх, смелым взмахом.

– Вот, – указывая на неё пальцем, сказал мне Бугров, – эта первая греховодница, нестерпимо озорует! Я её в скиты отправлю, в глушь лесную на Иргиз, там – медведи стадами ходят...

Но, вздохнув, почёсывая скулу, он задумчиво продолжал:

– Её бы в Москву свезти, учить её надо, необычен голос у ней. А родитель, лоцман, вдовец, не соглашается: "Не дам, говорит, чадо своё никонианам на забаву..."

Огромный, волосатый мужик, тяжело топя, надув щёки, внёс ярко начищенный ведёрный самовар, грохнул его на стол так, что вся посуда, вздрогнув, задребезжала, изумлённо вытаращил глаза, сунул руки в шапку рыжих волос и, как бы насильно, низко склонил голову.

Пришла Евфимия, груди у неё выдавались, как два арбуза, она наложила на них коробок с конфетами, придерживая их двойным подбородком; за нею три девочки несли тарелки с пряниками и орехами.

Бугров, разглядывая девиц, стал светлее, моложе, он негромко говорил мне:

– Вон та, курносенькая, голубые глаза, особо интересна! С лица будто весёлая, а на удивление богомольна и редкая мастерица. Воздух она вышла шелками, ангела с пальмом – удивительно! До умиления боголепно. С иконы взяла, но – краски свои...

Так он рассказывал почти о всех воспитанницах своих, находя в каждой то или иное ценное качество. Девочки держались свободно и оживлённо, было видно, что приезд Бугрова – праздник для них, а дородная Евфимия не страшна им. Она, сидя на конце стола, сосредоточенно и непрерывно жевала пряники, конфеты, потом, тяжело вздохнув, разливала чай и снова, молча, не спеша ела землянику с мёдом, растерев её на тарелке в кашу. Работала она, не обращая внимания на девиц и гостей, видимо, никого и ничего не слыша, поглощённая своим делом. Девочки шумели всё резвее, но каждый раз, когда в дверях мелькала тёмная, искажённая судорогами старуха, – в обширной, гулкой комнате становилось тише, веяло холодом.

После чая красавица Наталья, взяв гусли, запела:

Был у Христа младенца сад.

Пела она неверно, на церковный, унылый мотив, очевидно, не зная музыки, написанной на эти слова. Она придавала им характер мрачный, даже мстительный, пела, глядя в угол, её летящие глаза сверкали сурово. Но голос её, низкий и обширный, был, поистине, красив, странно богат оттенками. Забавно было видеть, как высокие ноты заставляют её приподниматься на стуле, а низкие – опускать голову и прятать ноги под стул. Гусли были настроены плохо, но певица, должно быть, не слышала этого, смуглые руки её щипали струны резко и сильно.

Бугров слушал, сидя неподвижно, приоткрыв рот. Парализованное веко отвисло ещё более, и непрерывной, влажной полоской в глаза текла слеза. Смотрел он в чёрный квадрат окна, оно упиралось во тьму ночи, его, как и два других, украшали расшитые полотенца, окна казались киотами, в которых вставлены закоптевшие иконы. Если внимательно и долго смотреть в эту черноту, из неё возникают огромные лица без глаз.

В комнате стало душно, бревенчатые, чисто выскобленные стены дышали запахом мыла и пакли, а над столом поднимался тонкий аромат мёда, земляники, жирный запах сдобного теста. Девушки примолкли, опьянев от обильной еды, пение подруги убаюкивало их, одна уже заснула, сладко всхрапывая, положив голову на плечо подруги. Монументом сидела Евфимия, щёки её блестели, точно смазанные маслом, и так же блестела жёлтая кожа голых до локтей, круглых рук.

А девушка, упорно глядя в угол, дёргала струны и всё пела сердитым голосом грустные и нежные слова:

Кольцо души-деви-и-и-цы

Я в мор-ре ур-ронил...

- Ну, - спасибо! - вдруг и как-то тревожно, слишком громко сказал Бугров.

В двери закачалась старуха, прошипев:

- Шпать!

- Идите, девоньки, спокойной ночи! Ефимья - работы покажи!

Провожая детей, он целовал их головы, а когда к нему подошла Наталья, сказал, положив ладонь на голову ей: - Хорошо поешь... Всё лучше ты поешь! Характер у тебя - плохой, а душа... Ну, иди с богом...

Она улыбнулась, - дрогнули её брови, - и плавно, легко пошла к двери, а старик, глядя вслед ей, почесал скулу и как-то жалобно, по-ребячьи обиженно, сказал:

- Вишь какая... да-а...

Евфимия внесла охапку аккуратно сложенных тряпок и разложила их на пальцы, на стол под лампой.

- Поглядите-ко, - предложил Бугров, не отрывая глаз от двери.

Я стал рассматривать вышивки для подушек, туфель, рубах, воздуха, полотенца. Всё это было сделано очень ярко, тонко, повторяя заставки и концовки старопечатных книг, а иногда рисунки - премии к мылу Брокера. Но одна вышивка удивила меня силой и странностью рисунка: на сером куске шёлка был искусно вышит цветок фиалки и большой чёрный паук.

- Это одна покойница вышила, - нелепо и небрежно сказала Евфимия.

- Чего это? - спросил Бугров, подходя.

- Варина работа...

- А... Да, умерла девунька. Горбатенькая была. Чахотка её съела. Чертей видела, одного даже вышила шерстями, сожгли вышивку. Сирота. Отец без вести пропал, утонул, что ли. Ну, Ефимья, спать укладывай нас...

Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров - в телеге, пышно набитой сеном, я - положив на траву толстый войлок. Раздеваясь, старик ворчал:

- Глупа Ефимья, а другой, поумнее - нет. Тут бы настоящую учительшу надо, образованную, да - отцы, матери не согласны. Никонианка будет, еретица. Благочестие наше не в ладах с разумом живёт, прости господи! Да ещё - старушка эта... не хочет умереть. Все сроки пережила. Вредная старушка. Для страха детям приставлена. А может, ради худой славы моей... Эх...

Он встал на колени и, глядя на звёзды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, укутался одеялом и крикнул:

- Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы - не молитесь богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог... должен быть! Иначе - опереться не на что. Ну, спим...

В непоколебимой тишине леса гукнул суч, угрюмо и напрасно. Лес стоял плотной, чёрной стеною, и казалось, что это из него исходит тьма. Сквозь сыроватую мглу, в тёмном, маленьком небе над нами тускло светился золотой посев звёзд.

- Да, - заговорил Бугров, - вот девицы эти вырастут, будут капусту квасить,

Н. А. Бугров. Максим Горький gorki.ucoz.ru  
огурцы, грибы солить, – к чему им рукоделье? Есть в этом какая-то обидная  
глупость. Много глупости в жизни нашей, а?

– Много.

– То-то и есть. А слышали вы – про меня сказывают, будто я к разврату склонил  
многих девиц?

– Слышал.

– Верите?

– Вероятно, это так...

– Не потаю греха, бывали такие случаи. В этом деле человек бестолковее скота. И  
– жаднее. Вы как думаете?

Я сказал, что, на мой взгляд, у нас смотрят на отношения полов уродливо. Половая  
жизнь рассматривается церковью как блуд, грех. Оскорбительна для женщины  
разрешительная молитва на сороковой день после родов; оскорбительна, но женщина  
не понимает этого. И привёл пример: однажды я слышал, как моя знакомая, умница и  
филантропка, упрекала мужа:

– Степан Тимофеевич – побойся бога. Только что ты мне груди щупал, а теперь, не  
помыв рук, крестишься, ..

– О, то ли ещё бывает! – угрюмо сказал Бугров. – Жён бьют за то, что в среду и  
пятницу, в постные дни, допускают мужей до себя. Грех. У меня приятель каждый  
четверг и субботу плетью жену хлестал за это – во грех ввела! А он – здоровенный  
мужик и спит с женою в одной кровати, – как она его не допустит? Да, да, глупа  
наша жизнь...

Он замолчал, и стали слышны непонятные шорохи ночной жизни, хрустели, ломаясь,  
сухие ветки, шуршала хвоя, и казалось, кто-то сдержанно вздыхает. Как будто со  
всех сторон подкрадывалось незримое – живое.

– Спите?

– Нет.

– Глупа жизнь. Страшна путанностью своей, тёмн смысл её... А всё-таки – хороша?

– Хороша.

– Очень. Только вот умирать надо.

Через минуту, две он добавил тихонько:

– Скоро... Умирать...

И – замолчал, должно быть, уснул.

Утром я простился с ним, уходя на Китеж-озеро, и больше уже не встречал  
Н.А.Бугрова.

Он умер, кажется, в десятом году и торжественно, как и следовало, похоронен в  
своём городе...

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатано в книге "Заметки из дневника. Воспоминания", издание "Книга",  
1924.

В 1919 году М.Горький задумал написать очерк о купце Бугрове. 18 мая 1919 года  
писатель просил одного из своих знакомых помочь ему в подготовке материалов для  
этой работы (Архив А.М.Горького). Вскоре замысел осложнился: автор задумал  
сопоставить в одном очерке двух различных представителей русской буржуазии. Один  
из черновиков имеет заглавие "Два купца. I. Николай Александрович Бугров",

Н. А. Бугров. Максим Горький [gorkiymaxim.ru](http://gorkiymaxim.ru)  
исправленное автором красным карандашом на: "Из воспоминаний. Купец Бугров".  
Второй частью должен был явиться литературный портрет С.Т.Морозова. 20 января  
1923 года издательство З.И.Гржебина запрашивало М.Горького: "Как ваши  
воспоминания о Бугрове и Морозове? Скоро ли дадите?" (Архив А.М.Горького).

Первоначально, в феврале 1923 года, очерк "два купца" был набран для книги  
М.Горького "Мои университеты", издание "книга", 1923, но, по указанию автора,  
был изъят из вёрстки (Архив А.М.Горького). В ноябре того же года первая часть  
под заглавием "Н.А.Бугров" была включена автором в книгу "Заметки из дневника.  
Воспоминания"; вторая - о С.Т.Морозове - составила самостоятельное произведение.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!